

“Кизи” (“Kese” — вместо “case”*) — и от этих “хут” и “кизи” уже все раздражаются хохотом, и всем становится ясно, что этот испытанный борец за пролетариат, этот сановник и полпред, осаждаемый интервьюерами... — только Ник.Никитин, талантливо имитирующий М.А.Чехова в “Ревизоре”⁴. “Серапионовы братья” — должны сохранить за ним этот титул: “Полпред Ник.Никитин” — звучит хорошо.

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ

1918 год. Маленькая редакционная комната — какая-то пустая, торопливая, временная — два-три стула, в углу связки — только что из типографии — книг. Еще непривычно, что в комнате — в шляпах и пальто. И непривычный, дружески-вражеский разговор с одним из редакторов лево-эсеровского журнала.

Стук в дверь — и в комнате Блок. Нынешнее его, рыцарское лицо — и смешная, плоская американская кэпка. И от кэпки — мысль: два Блока — один настоящий, а другой — напаянный на этого настоящего, как плоская американская кэпка. Лицо — усталое, потемневшее от какого-то сурового ветра, запертое на замок.

И в углу около книг — какое-то мимоходное, шепотом, редакционное совещание — я на минуту вдвоем с Блоком.

— Сейчас? (Его ответ.) Ну, какое же писание. Выколачиваю деньги. Очень трудно...

И вдруг — сквозь металл, из-под забрала — улыбка, совсем детская, голубая:

— А я думал, что вы — непременно с бородой до сих пор, вроде земского доктора. А вы — англичанин... московский...

Это было мое знакомство с Блоком. Только этот короткий разговор, улыбка, кэпка.

Три года затем мы все вместе были заперты в стальном снаряде — и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде. Смешные в снаряде затеи: “Всемирная Литература”, Союз Деятелей Художественного Слова, Союз Писателей, Театр¹... И все писатели,

* Случай (англ.).

кто уцелел, в тесноте сталкивались здесь — рядом Горький и Мережковский, Блок и Куприн, Муйжель и Гумилев, Чуковский и Волинский.

Сначала — жужжащая, густая приемная “Всемирной Литературы” на Невском. И Блок проходит сквозь, и как-то особенно, раздельно, твердо — берет руку — и слышен каждый слог: “Николай Степанович!” — “Федор Дмитриевич!” — “Алексей Максимович!”

Горький тогда был влюблен в Блока — он непременно должен быть на час в кого-нибудь, во что-нибудь влюблен: “Вот — это человек! Да! Покорнейше прошу!” Блока слушал Горький на заседаниях “Всемирной Литературы” так, как никого².

Еще неясно было, что мы заседаем, завинченные в летящий стальной снаряд, или, быть может, еще не устал Блок пересаживаться из заседания в заседание, — но он был пока не тот, безнадежный и усталый, как позже, он срывал с якоря толстых томов не одного только Горького.

Один весенний вечер — заседание на частной квартире. Горький, Батюшков, Браун, Гумилев, Ремизов, Гизетти, Ольденбург, Чуковский, Волинский, Иванов-Разумник, Левинсон, Тихонов и еще кто-то — много... и один Блок. Доклад Блока о кризисе гуманизма³.

Я помню отчетливо: Блок — на каком-то возвышении, на кафедре — хотя знаю, никакой кафедры там не могло быть — но Блок все же был на возвышении, отдельно от всех. И помню: сразу же — стена между ним и всеми остальными, и за стеною — слышная ему одному и никому больше — варварская музыка пожаров, дымов, стихий.

А потом — в комнате рядом: потухающий огонь в камине; Блок — у огня со сложенными крыльями бровей, упорно что-то ищущий в потухающем огне, и взволнованные, за полночь споры, и усталый, равнодушный, неуверенный ответ Блока — издали, из-за стены...

Кажется, весь этот вопрос — о кризисе гуманизма — ответвился как-то от Гейне: Блок редактировал во “Всемирной Литературе” — Гейне⁴. Работал он над Гейне необычайно тщательно и усидчиво. Помню какой-то будничный, денежный разговор — и слова Блока:

— Оплата? Какая же тут может быть оплата? Вчера за два часа я перевел двенадцать строк. И еще в комнате у меня в тот вечер было тепло, горела печь. Очень трудно, чтобы перевести по-настоящему.

Он делал все — “по-настоящему”. Но все же чувствовал — ни на минуту не переставал чувствовать, что это — не то, не настоящее.

Вижу его в зале, у окна — вдвоем с Гумилевым. Тоскливое, румяное, холодное небо. Гумилев, как всегда жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы. И Блок, глядя мимо, в окно:

— Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?

А за окном — опустошенное ветром, румяное, холодное небо...

В тесноте, в темноте, внутри несущегося со свистом стального снаряда — торопились заседать, одно заседание перекрывало другое. “Союз Деятелей Художественной Литературы” решил заняться в снаряде — изданием произведений изящной словесности⁵. Составилась редакция: Блок, Горький, Куприн, Шишков, Слезкин, Муйжель, Мережковский, Чуковский и я. Посыпались рукописи. Блоку приходилось давать рецензии о стихах — и я помню одну его — отточенную, острую; как и всегда на заседаниях, он не говорил, а читал по написанному (и рукопись этой его рецензии сохранилась). Один из поэтов, нанизанный на острие этой рецензии, просил меня достать у Блока его отзыв. Но на следующем заседании Блок сказал мне:

— Я не принес... Не нужно. Может, ему это очень важно — писать стихи... Пусть пишет.

Решили устроить журнал. Он должен был называться “Завтра” — и, помню, мне поручено было написать что-то вроде манифеста. Там было — о круге: вчера, сегодня и завтра, и о том, что вся литература всегда о завтра и во имя завтра, и этим определяется отношение ее к вчера, к сегодня: и от этого она всегда — ересь, бунт⁶.

А потом, при пересадке с заседания на заседание — мимо-летный разговор с Блоком и об этом⁷.

Помню: на минуту, за этим — медленным, металлическим, на замке — лицом мне мелькнул человек, который трудно и больно отрывает от себя что-то. Это был первый мой разговор с Блоком — без стен. Знаю конец. Я сказал:

— Вы очень отошли от того, кем были год назад. Вы меняетесь.

Ответ:

— Да, я сам чувствую, что меняюсь.

Петербург — выметенный, опустелый; забытые досками магазинами; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; поднятые воротники; фуфайки; вязанные свитеры; и в свитере — Блок. Лихорадочные попытки перегнать нужду и какие-то новые, минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания — из заседания в заседание...

И вот — поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний — в одной из маленьких задних комнат “Всемирной Литературы”. Столовая, под зеленым колпаком лампа; лица в тени. Налево от дверей — теплая изразцовая лежанка, и на лежанке, возле лежанки — Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер, я — и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.

Трудно починить водопровод, трудно построить дом — но очень легко — Вавилонскую башню. И мы строили Вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы Российской — от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!

Мы, быть может, чуть-чуть улыбаясь — верили, или хотели верить. И больше всех верил Блок. Как и всегда, как и ко всему — он и к этому подошел “по-настоящему”.

В пестрой, переливающейся груди — надо было увидеть какую-то закономерность, уловить ритм. И тут у Блока оказалась зоркость глаза, острота слуха такая, как ни у кого. Башню решили строить по его плану; в издательстве Гржебина где-то хранится составленный им список ста томов. И недаром в найденной среди его посмертных бумаг автобиографии он отмечает: “Ноябрь 1919 г. Составление списка ста томов”. Если Вавилонская эта башня когда-нибудь будет построена — она будет одним из памятников Блоку: с такой тщательностью и точностью он сделал выбор.

В озябшем, голодном, тифозном Петербурге — была культурно-просветительная эпидемия. Литература — это не просвещение, и потому поэты и писатели — все стали лекторами. И была странная денежная единица: паек, — приобретаемая путем обмена стихов и романов — на лекции.

Блоку в это время жилось трудно — он неспособен был на этот обмен. Помню, он говорил:

— Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по написанному.

Но эпидемия все же захватила и его. Образовалась Секция Исторических Картин⁸. Это была опять одна из Вавилонских башен: в цикле исторических пьес — показать всю мировую историю, — не больше и не меньше. Придумал это Горький, —

и прикованные к столу заседаний все те же: Блок, Гумилев, Чуковский, Ольденбург, я; из других — Щуко и Лаврентьев.

Помню, с самого начала Блок в это не очень верил и говорил:

— Нельзя, чтоб искусство везло науку.

Но все-таки работал — как всегда: “по-настоящему”. Все-таки это были не лекции, суррогат творчества, а к суррогатам мы уже привыкли: ели лепешки из картофельной шелухи, пили воду вместо вина. И Блок настойчиво пытался претворить воду в вино.

Одно из первых заседаний — в величественном кожаном кабинете Театрального отдела (ПТО).

Блок читал свой сценарий исторической пьесы — не знаю, сохранился ли этот сценарий, но знаю: пьеса осталась ненаписанной. Там было любимое средневековые Блока, рыцари и дамы, пажи, менестрели. И помню легкое пожатие плеч театрального начальства, когда это было прочитано. И сценарий был куда-то спрятан Блоком⁹.

Было уже написано для Секции несколько пьес. Все спрашивали Блока: “Когда же вы дадите, Александр Александрович?”

— Куда там! Вот выселяют всех из нашего дома. Все бегаю, чтоб как-нибудь остаться. Вчера ездил в Смольный с письмом Горького. Завтра идти в районный отдел.

Или:

— Ну — пьеса! Вот я нынче все утро окна замазывал. И завтра надо еще в двух комнатах. Медленно — не умею...

И вот — квартиру удалось отстоять, окна замазаны. Он стал думать о пьесе.

— Вот еще не знаю: взять ли Куликовскую битву — мне это очень близко — или другое: Тристана и Изольду.

Говорил, что уже сделал какие-то наброски для “Тристана” и вдруг неожиданно — из египетской жизни: “Рамзес” — едва ли не последняя написанная им вещь.

Прочитали. Делали какие-то замечания о “Рамзесе”, Блок отшучивался.

— Да ведь это я только переложил Масперо¹⁰. Я тут ни при чем¹¹.

Секции был обещан свой театр. Но нечем топить — нет дров: наши пьесы передали в Народный Дом, из Народного Дома — в Василеостровский театр. “Рамзес” — в Василеостровском театре...¹²

Случайно я узнал об этом, рассказал Блоку. Блок усмехнулся, не очень весело.

— Пусть лучше не ставят.

И Секция наложила veto на постановку “Рамзеса” и других наших пьес. Вавилонская наша башня разваливалась.

Уже весной 21-го года — одно из последних заседаний Секции. Открыто окно, трамвайные звонки, голоса мальчишек на высохшем тротуаре. И неизвестно почему — вдруг все смешно. Ни у Блока, ни у Гумилева, ни у меня — нет папирос. Гумилев у кого-то сташил и распределяет под столом. И я вижу, как у Блока исчезает какая-то тень на виске, дрожат губы от школьнического, неслышного смеха. И кажется ему смешным каждое слово в какой-то нелепой пьесе — читается пьеса — и он заражает своим смехом.

Это был один из редких случаев, когда за эти годы я видел Блока — молодым. И, может быть, это был последний раз, когда я видел Блока.

Потом шли вместе до Невского. Очень отчетливо, вырезанно, помню: слева, от Николаевского вокзала, лезла на солнце туча, но солнце еще было, брызгало.

— Очень хочется писать, — говорил Блок. — Это теперь почти никогда не бывает. Может быть, в самом деле, отдохну и сяду...

На Садовой ждали трамвая, — все не было. Туча напозла, закрыла солнце, и сверху — как плита. И почему-то заговорили о зиме, о пещерной петербургской зиме; о том, что теперь мы, как звери, знаем лето, солнце, зиму; о том, что ему, после болезни, трудно ходить.

Над головою — туча, плита. Опять — знакомая, еле заметная тень на виске. И у меня мысль: нет, не отдохнет, не сядет. Это только минутное солнце.

Какие-то торопливые, краткие, вагонные были эти мои почти ежедневные встречи с Блоком все три последних года. И, может быть, ближе всего вдвоем с ним и неспешней всего — я был летом 1920 года. Мне пришлось тогда вместе с ним работать над текстом и постановкой “Лира” в Большом Драматическом театре¹³.

Помню: на репетициях — темный, гулкий, как губка вбирающий все звуки зал. За режиссерским столиком перед рампой или в первом ряду кресел — справа от меня медальный профиль Блока. На сцене — один и тот же выход в пятый, в шестой раз подряд, в пятый и в шестой раз падают, убивают. И я вижу, как нетерпеливо Блок поводит головой — будто мешает ему воротник — от каждого неверного слова и жеста на сцене.

Кончится чей-нибудь выход — по лесенке слева через рампу перелезает темная фигура и к Блоку:

— Ну, как, Александр Александрович, — ничего?

Было впечатление: темный, пустой зал — полон для них одним зрителем — Александром Александровичем. Его тихих и медленных слов слушались самые строптивые.

— Александр Александрович — наша совесть, — сказал мне однажды, кажется, режиссер Лаврентьев. И ту же фразу — как утвержденную формулу — я слышал потом не раз от кого-то в театре.

Последние — обстановочные и костюмные — репетиции кончались часа в 2, в 3 ночи. Блок всегда сидел до конца, и чем позже — тем, кажется, больше оживал он, больше говорил: ночная птица.

— Не утомляет вас это? — спросил я.

Ответ:

— Нет. Театр, кулисы, вот такой темный зал — я люблю, я ведь очень театральный человек.

На одной из таких последних ночных репетиций — вдруг стало невмочь и решили выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:

— Наше время — тот же самый XVI век...¹⁴ Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи...

После утренних репетиций из театра часто шли вместе на Моховую. Из позабытых, стершихся разговоров уцелели — выброшены волною на берег — только разрозненные обломки. Но если приглядеться к ним — видишь, что все они — одно.

Явно вижу: мы, ухватившись за ремни, стоим в вагоне трамвая. Толкают, наступают на ноги — и в этой толчее конец какого-то странного разговора.

— ...А вот бывает с вами так: смотришь на себя со стороны — ты совершенно определенно в стороне, в другом углу комнаты — и видишь, себя — не себя, а чужое?

Ответ — после паузы — глаза очень далеко:

— Да, бывало. Раза три в жизни. Теперь больше не бывает... Теперь со мной ничего не бывает... — и еле приметная горечь в углах губ.

Вот идем по Бассейной, — куда, не помню. Блок в своей кэпке. И голый, ни с чем не связанный, обломок — его слова: — Дышать нечем. Душно. Болен, может быть.

И может быть, в тот же — может быть, в другой день — долгий разговор¹⁵, его горькие, жестокие слова о мертвечине, о лжи.

А потом, нахмурившись, упрямо — может быть, самому себе, а не мне:

— И все-таки золотник правды — очень настоящей — во всем этом есть¹⁶. Ненавидящая любовь — это, пожалуй, точнее всего, если говорить о России, о моем отношении к ней.

На каком-то заседании — у меня в руках английский журнал, и там я увидел статью о переводе “Двенадцати” Блока — под заглавием: “А Bolshevik Poem”*. Я показал Блоку статью. Он усмехнулся¹⁷.

И потом — разговор о большевизме.

— Большевизма и революции — нет ни в Москве, ни в Петербурге. Большевизм — настоящий, русский, набожный — где-то в глуби России, может быть, в деревне. Да, наверное, там...

Он всегда говорил медленно, металлически, холодновато. И только два-три раза я слышал в металле острое, жало — и видел: он натягивает вожжи, чтобы удержать себя.

Один раз он так говорил о марксизме¹⁸. Другой раз — он только что прочитал заграничную “Русскую Мысль”¹⁹ Струве — и я редко слышал, чтобы он брал такие грубые слова.

— Что они смыслят, сидя там? Только лают по-собачьи.

И написал об этом очень резкую статью для невышедшей “Литературной Газеты” Союза Писателей²⁰.

Это было в апреле 1921 года — перед последней его поездкой в Москву.

Блок — весь из Невы, из тумана белых ночей, Медного всадника. Пестрая, по-купчески телесная Москва — ему чужая, и он Москве — чужой. Его чтения в Москве — в мае 1921 года — это показали.

Последний его печальный триумф — был в Петербурге, в белую апрельскую ночь²¹.

Помню, он с усмешкой рассказывал — вечер его не разрешают: спекуляция, цены — выше каких-то тарифов. Наконец — разрешили. И вот доверху полон огромный Драматический театр (Большой) — и в полумраке шелест, женские лица — множество женских лиц, устремленных на сцену. Усталый голос Чуковского — речь о Блоке — и потом, освещенный снизу, из рампы, Блок — с бледным, усталым лицом. Одну минуту колеблется, ищет глазами, где статья — и становится

* Большевистская поэма (англ.).

где-то сбоку столика. И в тишине — стихи о России. Голос какой-то матовый, как будто откуда-то уже издалека — на одной ноте. И только под конец, после оваций, — на одну минуту выше и тверже — последний взлет.

Какая-то траурная, печальная, неживая торжественность была в этом последнем вечере Блока. Помню сзади голос из публики:

— Это поминки какие-то!

Это и были поминки Петербурга о Блоке. Для Петербурга — прямо с эстрады Драматического театра Блок ушел за ту стену, по синим зубцам которой часовым ходит смерть: в ту белую апрельскую ночь Петербург видел Блока в последний раз.

На заседаниях — у каждого было уже какое-то свое, привычное место. И вот стул Блока — с краю, у самого окна, стоял теперь пустым: Блок болен. Еще зимой — с месяц стоял пустым этот стул. Но, отлежав месяц, Блок вернулся как будто все таким же. Да и что особенного: острый ревматизм, от промерзлых домов — у кого этого теперь нет в Петербурге? Никто не думал, что этим неособенным, обыкновенным — уже исчислены удары его сердца. И неожиданно было, когда узнали: это серьезно, и спасти его можно только одним — тотчас же увезти в санаторию за границу.

Никто из нас не видал его за эти три месяца его болезни: ему мешали люди, мешали даже привычные вещи, он ни с кем не хотел говорить — хотел быть один. И никак не мог оторваться от ненавистой — и любимой России; не хотел согласиться на отъезд в финляндскую санаторию, пока не понял: остаться здесь для него — умереть. Но и тут не хотел ни за что подписывать никаких прошений и бумаг. Письма в Москву о разрешении Блоку выезда за границу были написаны (в июне) Правлением Союза Писателей²².

В Москве был Горький. Горький с бумагами ходил по инстанциям; к нам приходили известия: обещали, выпустят, скоро. Блок метался: не хватало воздуха, нечем дышать. И приходили люди, говорили: больно сидеть в соседней комнате и слушать, как он задыхается.

Мы заседали; стояли в очередях; цеплялись за подножки трамваев; Блок метался; Горький в Москве ходил по инстанциям. И наконец, 3-го или 4-го августа пришло из Москвы разрешение: Блок мог уехать²³.

Ветреное, дождливое утро 7-го августа, — одиннадцать часов, воскресенье. Телефонный звонок — “Алконост” (Алянский)²⁴: скончался Александр Александрович.

Помню: ужас, боль, гнев — на все, на всех, на себя. Это мы виноваты — все. Мы писали, говорили — надо было орать, надо было бить кулаками — чтобы спасти Блока.

Помню, не выдержал и позвонил Горькому²⁵.

— Блок умер. Этого нельзя нам всем — простить.

Синий, жаркий день 10-го августа. Синий ладанный дым в тесной комнатке. Чужое, длинное, с колючими усами, с острой бородкой лицо — похожее на лицо Дон-Кихота. И легче оттого, что это не Блок, и сегодня зароят — не Блока.

По узенькой, с круглыми поворотами, грязноватой лестнице — выносят гроб — через двор. На улице у ворот — толпа. Все тех же, кто в апрельскую белую ночь у подъезда Драматического театра ждал выхода Блока, — и все, что осталось от литературы в Петербурге. И только тут видно: как мало осталось.

Полная церковь Смоленского кладбища. Косой луч наверху в куполе, медленно спускающийся все ниже. Какая-то неизвестная девушка пробирается через толпу — к гробу — целует желтую руку — уходит. Все ниже луч.

И наконец — под солнцем, по узким аллеям — несем то чужое, тяжелое, что осталось от Блока. И молча — так же, как молчал Блок эти годы — молча Блока глотает земля.

ПЕРЕГУДАМ

ОТ РЕДАКЦИИ “РУССКОГО СОВРЕМЕННОКА”

Знакомы ли вы с Оноприем Опанасовичем Перегудом? Конечно, знакомы — только вы не узнаете его, потому что он постригся, переменял костюм. И чтобы при следующей встрече вы не забыли раскланяться с ним, мы напомним вам о самом замечательном происшествии в жизни Оноприя Опанасовича.

Оноприй Опанасович жил тихо и мирно, в животном благоволении. Но однажды его обуяла жажда славы, и слава его была в том, чтобы непременно отыскать и предоставить по начальству “потрясателя основ”. На счастье, к соседу приехала учительница — стриженная и в очках. Ясно: она и есть! И когда она обмолвилась при нашем герое подозрительными изречениями насчет богатых и бедных, счастливцев полетел к начальству,